

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Дмитрий Черкашенин

## ШАФРАНОВЫЙ ХАЛАТ

Свою Люсю я узнаю издалека. Даже через большое мутное стекло парикмахерской, в которой она работает, даже когда идет дождь. Моя Люся носит шафрановый халат. Правду сказать, теперь это в прошлом — не халат, конечно, а «моя». Но вы, наверное, спросите: а что такое шафрановый халат? Нет, халат — это понятно. А что такое «шафрановый»? Как вам объяснить? Что такое шафрановый, я даже и описывать не стану. Никаких мыслимых оттенков для этого не хватит. Точнее, оттенков-то, пожалуй, хватит, но не найдется слов. Вы скажете: дался ему какой-то халат. Ну, видимо, он оранжевый или что-то в этом роде. Нет, скажу я вам. Во-первых, не какой-то, а во-вторых, не оранжевый, и не красный с желтизной, и не ярко-желтый с красноватым оттенком, и не красновато-охристый — это уж тем более, а именно... шафрановый! Я же предупреждал, что даже и пытаться не стану его описывать. Но вы вот просто представьте...

Декабрь той зимой 197... года выдался не приведи господи! Зима в наших южных краях и так ни то ни се — уродец. Но в конце-то декабря даже у нас вдруг да и повалят хлопья снега: влажные, тяжелые; сначала растают, соприкоснувшись с землей, потом осторожно, на пробу, лягут на жухлую траву, на лапы голубых елей, высаженных возле горкома, на кустики самшита вдоль тротуара. И после, как-то незаметно, через день на третий — гофмановская сказка: все кругом покроется тяжелой, рыхлой, сырой ватой предновогоднего снега. И уж совсем на Новый год наступает волшебный праздник зимы. Можно выключить свет в квартире, выйти на балкон, дышать пропитанной холодом темнотой и наполняться до краев пастернаковским:

Никого не будет в доме,  
Кроме сумерек. Один

Зимний день в сквозном проеме  
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев  
Быстрый промельк маховой.  
Только крыши, снег и, кроме  
Крыш и снега, — никого.

Пусть даже через неделю все растает, но неделя — это тоже много, особенно когда вовремя.

А тем декабрем — никаких сказок. Ни Гофмана, ни Пастернака. Видимо, в нашей долине положенные в декабре осадки в виде дождя и мокрого снега решили ограничиться только дождем. Никакого снега, даже мокрого. Елки, которые по инерции продавали унылые работники Горзеленстроя и по привычке покупали сограждане, выглядели в этой ситуации по меньшей мере глупо. Зачем их надо было покупать? Чтобы у немилосердных батарей они за день-другой ссохлись и осыпались, так и не дождавшись снега и соответствующего ему праздника? В общем, гадко было тем декабрем.

А мне было гадко вдвойне. Во-первых, потому что я, похоже, впервые оставался без новогодней елки. Не хотелось ее покупать, незачем ставить. Если декабрь без снега, так и Новый год без елки... Но все-таки грустно это. А во-вторых, меня-таки выперли со второго курса университета с классической формулировкой «за академическую неуспеваемость». Эта формулировка меня бесила даже больше, чем факт самого изгнания, чем обманувшая зима. Я даже третью сессию свою сдать не успел. Мне просто не дали ее сдать. А я бы смог. Я же сдавал первые две, и очень неплохо, между прочим, сдавал, когда меня, наконец, допускали к сдаче. Я даже любил сессии: ощущалась собственная нужность, что ли, появлялся смысл пребывания в универе. А тут к зачетной неделе меня так замордовали всякими непосещениями, неотработками и неаттестациями, что я и пытаться перестал. Пошли они подальше, я ведь не школьник. Отдав положенное «священному долгу и почетной обязанности» и вернувшись домой в шинели с тремя «соплями» на погонах, я как уволенный из рядов довольно просто поступил на истфак и год жил без забот. Универовская свобода потрясла и поглотила меня. На факультете я едва только не ночевал, умудряясь при этом быть не слишком частым гостем в учебных аудиториях. Вечно это продолжаться не могло. Сначала за меня взялись мягко:

«Он честно отдал свой долг, посмотрите: сержант, отличник Советской армии, теперь ему нужно помочь...» — это на бюро.

«Конечно, в определенной мере это наш крест... Но он способный парень, отчасти не его вина, что он несколько подзапустил. Его надо мобилизовать...» — это в деканате, на заседаниях УПК\*.

---

\* Учебно-производственная комиссия.

Так продолжалось еще некоторое время, но все-таки меня выперли. Я не держал на них зла, на то были свои резоны, но почему именно в зимнюю сессию и именно в этом году? Поганая зима, помноженная на изгнание, — согласитесь, это слишком! Оставалось одно — постричься.

В детстве я ненавидел, когда меня стригли. Неважно, где и кто. Дома ли отец или в парикмахерской. А вот с каких-то пор (вероятно, с армейских) постричься для меня стало как начать новую жизнь. И я пошел стричься. В парикмахерскую на улицу имени 50-летия Октября, бывший Голицынский проспект. И там, за огромным мутным стеклом (выше по улице — бакалея, ниже по улице — книжный магазин), я увидел Люсю. Точнее, я не знал тогда, что она — это Люся. Я увидел шафрановый халат. У меня просто сразу в голове это название возникло — как ощущение, поэтому я и начал с того, что не знаю точно, как его передать. Но представьте. Большое грязное стекло. Парикмахерская. Слякоть, склизь, одно слово — декабрь. В креслах усталые и озабоченные клиенты. Они делали предпраздничные покупки. И забежали сюда. Почему-то большинство — лысоватые отцы семейств. Их трудно стричь. Там, где волосы, мало что осталось, и это очень важно не испортить. Над ними хлопочут люди в грязно-белых мятых халатах. Халаты делают их похожими на теток из соседней бакалеи. Но в то же время можно предположить, что они хирурги. И не столько потому, что белые халаты (у хирургов, я думаю, они все же почище), и даже не потому, что у них тоже инструменты в руках, а потому, что они столь же озабочены. И хотя озабоченность хирурга, вероятно, глубже: он борется за жизнь пациента, у этих озабоченность не менее серьезна. Попробуйте в канун Нового года, в запарке потока, под бременем собственной неготовности к празднику, под прессом вины перед домочадцами поработать с клиентом так, чтобы он не просто не пожалел своего полтинника или, чего доброго, гнусаво не потребовал жалобную книгу, а напротив, утробно бы проворковал: «Освежить!» Ответственность не меньшая. Цена — человеческая судьба.

Ну вот, если вы хорошо представили себе эту грязно-белую ответственность и эти залысины, вопиющие: «Подравняйте, только не очень коротко», этот мокрый асфальт в декабре и большую мутноватую витрину, внутри которой зажгли свет не потому, что уже так темно, а потому, что уже так положено, — вы поймете, что такое шафрановый халат. Потому что моя Люся была не в грязно-белом! Она была как взрыв новогодней хлопушки, как китайский фонарик, как мандарин на елке, как окошко, с уютным теплым светом в промозглую ночь, как... словом, как все самое хорошее, о чем мечтаешь с детства, но не знаешь, как оно выглядит. И хотя она еще не была моей Люсей и я даже не знал, что она — Люся, я понял одно. Я высижу любую очередь, я не пойду к грязно-белым хирургам. Я пропущу вперед себя того старика, которого на прошлой неделе видел, по-моему, в пивном буфете в городской бане. А потом того противного белесого пацана, отец которого пытается заманить его под ножницы байками о Деде Морозе, послушных мальчишках и подарках. Я их всех пропущу, но сяду именно к ней и скажу: «Подравняйте, пожалуйста, только не очень коротко».

\* \* \*

Кто сказал «отвратительна, как руки брадобрея»? Это кто-то из крупных поэтов, по-моему, сказал, не Мандельштам ли? Он, конечно, не стригся у Люси. У нее были замечательные руки. Сильные и одновременно нежные, тонкие, женственные. Передо мной на подзеркальном столике стояли в ряд одеколоны: «Лесной», «Тройной» в плоской бутылочке, дорогой «Лель» в высоком граненом цилиндрике с палехским пастушком на черной лаковой этикетке, над ними главенствовал пузатый пульверизатор с резиновой грушей, в стороне скромно держалась круглая коробочка желтоватого картона с пудрой и ватой, а в зеркальном отражении я видел ее руки у себя над головой, ее чудесный халат, ее большие серые глаза и темно-русые волосы. Мне было хорошо и спокойно, и я был рад, что изрядно запустил свою прическу, а лысеть, видимо, буду еще не скоро.

Так начался наш роман. Ну, не совсем сразу, конечно. Когда со мной было закончено, я только поблагодарил ее, даже как-то суховато поблагодарил и даже от «освежить» отказался и деревянно ушел. Но первопричиной-то нашего романа была именно эта стрижка. Позже она всегда смеялась, вспоминая эту «официальную встречу». Но это потом. А тогда я вернулся к себе, потом прошло еще дня два... Да, точно, два дня, я ведь за день до Нового года появился снова у парикмахерской, значит, 30-го. Снова увидел ее за стеклом и долго слонялся по улице. Без надобности заходил в магазины, спустился вниз, зашел в «Фонтан» (это кафе такое, может, кто знает, оно у фонтана, зимой работает только стеклянный павильон, а летом ставят столики на улице),пил приторный кофе с молоком из липкого граненого стакана. А когда парикмахерская должна была закрываться, я поднялся к ней. Я не знал, что скажу. Но когда она вышла, я подошел и сказал, почему-то несколько манерно:

— Извините, сударыня...

Взмах ресниц, удивленный взгляд больших серых глаз.

— Извините, сударыня! Я предлагаю встретить Новый год вместе... У Вас.

Я всего ожидал. Что меня отошьют. Скажут, что я псих. Или глупого хихиканья, или «я с незнакомыми молодыми людьми не разговариваю», или еще что-нибудь в этом роде. Она замужем могла быть, в конце концов. Вместо этого я вдруг услышал:

— Давайте.

Она сказала это так просто и спокойно, как будто мы были друзьями детства, а совместные новогодние праздники — давней традицией наших семей. Я от этого совершенно остолбенел и, наверное, ушел бы, и стригся бы впредь в других парикмахерских. Но она так же спокойно добавила:

— Что же Вы стоите? Надо ведь еще кое-что приготовить. Давайте встретимся завтра, в одиннадцать, возле памятника Дзержинскому. Вы знаете, где это?

Я кивнул.

— Вот и хорошо, — сказала она, улыбнулась и ушла.

\* \* \*

Памятник Дзержинскому был выбран не случайно. Мне пришлось переться через полгорода, а она, как выяснилось, жила неподалеку, занимая комнату в маленьком полуторазтажном домике. Отдельное крылечко с пятью покосившимися ступеньками вело в узкий коридорчик, отделявший комнату от крошечной кухни, выкроенной с помощью перегородки из застекленной веранды, опоясывавшей дом по фасаду. Люся оказалась практичной женщиной. У нее все было готово. Даже елка. В отличие от меня, она не устраивала драм по поводу погоды. Вот эту елку и надо было наряжать. И когда я начал это занятие, то в душе наступил праздник. Из большой картонной коробки, из давнишней пожелтевшей ваты с прилипшими кружочками старого конфетти и серебристыми обрывками «дождика» бережно извлекались шары; стеклянные и картонные, оклеенные фольгой, фигурки петушков, барашков и закутанных в платки мальчиков на жестяных защепках; замысловатые подвески из маленьких стеклянных трубочек и разноцветных горошинок (в моем представлении это именовалось стеклярусом); гирлянды бумажных флажков с нарисованными Незнайками, Мюнхаузенами, летящими на ядрах, Аленушками с козлятами Иванушками; электрические елочные фонарики и другие удивительные вещи. А из кухни пахло вареной свеклой и морковью, кипевшими в ожидании своего чудесного превращения в зимние салаты. А на старом круглом столе, занимавшем середину комнаты, стояли вымытые перевернутые бокалы, тарелки и салатницы горкой и ваза с яблоками и мандаринами. И я вдруг почувствовал, как внутри, под солнечным сплетением, тает и расходится теплом плотный сырой сгусток тумана, который, оказывается, жил там все последние две недели. Жил так долго, что я с ним свыкся и не замечал вот до этого самого момента. И плевать стало на мокрый декабрь, и на факультетское бюро комсомола, и на деканат, и на неясное мое будущее...

Я срезал пластмассовую верхушку с бутылки «Эрети» (для нее) и жестяную с бутылки «Пшенки» (для себя), а Люся отламывала куски селедки «под шубой» и раскладывала нам на тарелки. А потом, в последние секунды, под бой часов в экране мерцающего «Рекорда», под нарочито ужасающие: «Ну скорей, скорей! Не успеем!» я дрожащими руками срывал сетку с «Советского» и обливал сладкой пеной наши руки, стол, посуду — и успевал! А потом... Голова моя лежала на ее коленях. Тело мое было на земле, здесь, в полумраке комнаты, освещенной лунным светом, пробивавшимся поверх занавески, и неверным блеском елочной мишуры. Душа моя, сам я весь летел высоко-высоко, невесомо, безмятежно и радостно, как в детском сне, и тихо плыло за мной под мягкие гитарные перелады:

...Хоть я подданный, но все же  
Я весьма беспечный класс.  
Претворяюсь я вельможей  
В Государстве Синих Глаз.

Только что там притворяться,  
Я как на ладони весь —

Пропадай мое дворянство,  
Спесь сменяется на лесь...

Голова моя лежала на ее коленях. Она склоняла надо мной свое лицо и говорила горячим и счастливым шепотом, вспоминая о том, как мы встретились.

Как для меня шафрановый халат, так для Люси — мое дурацкое «сударыня». Оно ей вовсе не показалось дурацким. После бесчисленных «подравняй» в канун новогоднего праздника оно тоже показалось ей чем-то не от мира сего. Да так оно и было, теперь мне это и самому ясно. Люся оказалась старше меня на четыре года, хотя внешне это, конечно, было совсем незаметно. У нее была пятилетняя дочка, Инна, которую она отправила тогда на праздники к своим старикам, а «он» бросил их, когда Инне едва минул год. И наступающий праздник ей светило встречать совсем одной, да и хотелось только одного — покоя. Обычная, в общем, история. А «сударыня» — это совсем не обычно, это даже удивительно. Уже дома она вспомнила, что стригла меня на днях — это и успокоило, и заинтриговало. И она никогда не будет жалеть, что так сразу согласилась встречать Новый год с каким-то незнакомым мальчишкой. И она смеялась, дыша горячо и счастливо, склоняя надо мной свое лицо. Голова моя лежала на ее коленях...

Подольститься просто очень,  
Это делал я не раз:  
Сверхдоверчивые очи  
В Государстве Синих Глаз...

А после новогодней ночи мы еще целый день, до самого вечера не вылезали из-под одеяла. Можно бы и дольше, но ей уже второго надо было выходить на смену.

\* \* \*

Жизнь, конечно, не кончилась, и наши встречи какое-то время продолжались, приобретя вполне регулярный характер. А что до шафранового халата, то все оказалось просто. Люся получила его в качестве приза. В Вильнюсе был Всесоюзный конкурс парикмахеров, и она заняла на нем второе место. Все удивлялись: такая молодая! Она даже ревела потом, а ее заведующий говорил, что дело не в возрасте, а в таланте. Что парикмахерам талант нужен не меньше, чем, скажем, писателям. А может быть, даже и больше. Плохого писателя можно и не читать, а плохой парикмахер — наказание людям. Такой вот у них философичный заведующий. Ну вот, вместе с дипломом изобретательные литовцы награждали победителей разными необычными и полезными подарками. Люся получила этот халат, чехословацкий или югославский что ли. Это даже был не халат, а какой-то их специальный балахон такой. Он надевался через голову: фартук спереди, фартук сзади, карман для инструмента с особыми отделениями — нужная, в общем, штука. У меня было много возможностей обо всем этом наслушаться, Люся любила вспоминать о своем профессиональном триумфе. Потом я познакомился с ее девочкой,

и мы очень поладили, чем еще раз был подтвержден мой титул Друга Детей и Животных, данный мне друзьями-острословами. Потом я стал ощущать с ее стороны острую потребность познакомить меня с ее родителями, жившими в области. Потом...

Нет, Люся оставалась прекрасной, замечательной Люсей, но девочке нужен был отец, и эта обыденная правда была абсолютно нормальной, настолько нормальной, что она не вязалась с шафрановым халатом, в котором и самом-то, по совести говоря, осталось мало волшебного и удивительного. Да и не халат это вовсе, как выяснилось. В мои планы не входила вся эта правда, и я мягко, но решительно начал дрейф в открытое море. Все закончилось мирно и без истерик, более того — ко всеобщему, действительно всеобщему удовольствию. Не прилагая специальных усилий, я совершенно случайно нашел для Люси и Инны того, кто был им нужен в смысле поддержки и опоры — моего приятеля по прозвищу Мерлин, но это — другая история, о ней как-нибудь в другой раз.

Ладно мы расстались. И стричься я до сих пор хожу к ней, все туда же: улица 50-летия Октября, бывший Голицынский проспект, выше — бакалея, ниже — книжный магазин...

**В. И. Финнова**

## **КАК МЕНЯ РЕПРЕССИРОВАЛИ**

Вообще-то сначала меня распределили в редакцию газеты «На смену!». ...Осенью в нашей аудитории на четвертом этаже появился преподаватель по истории русской журналистики Юра Еремин, вызвал в коридор меня и Сашку Полищука и высказался в том смысле, что не пора ли завязывать с учебой и заняться наконец настоящим делом в стенах редакции областной молодежной газеты.

Оказывается, пока я шастала с рюкзаком по Крыму, мечтая, чтобы последние студенческие каникулы никогда не кончались, в «Насменке» появился новый редактор. Необычность этого заурядного события состояла в том, что им был наш преподаватель. И вот сейчас он набирал команду.

Не знаю, как для Полищука, а для меня предложение оказалось полной неожиданностью. Я не собиралась после окончания оставаться в Свердловске, но перспектива на законном основании закосить была тем более заманчивой, что все мы уже давно считали себя готовыми журналистами. Только одно «но»: а как же тогда «голубые города», которые «снятся людям иногда»? И дальние дали, и неизведанные пути-дороги, — словом, весь набор романтических штампов, который скапливается в человеческой голове на исходе пяти учебных лет? Что же, так и будет «сниться иногда», а наяву — все тот же Свердловск?..